

На Каменской станции оканчивается Якутская область, начинающаяся у Охотского моря, — это две тысячи вёрст: до Иркутска столько же остаётся — что за расстояния! Какой детской игрушкой покажутся нам после этого поездки по Европейской России!

И. Гончаров

Кому-то может показаться, что поход в тайгу за ягодой то же самое, что и на рынок с той лишь разницей, что в тайге бесплатно, а на рынке за свои кровные. Конечно, в таёжной глубинке, где ягодники начинаются за огородами, можно управиться и обыдёнком, то есть одним днём, но всё равно нетопливный и созерцательный сборщик и котелочек с собой прихватит, и закуски какой-никакой, а по настроению и пузырёк с живительной влагой сунет в горбовик. Если и один идёшь, как можно обойтись без костра, не обогревая ради, а сооружённого только для того, чтобы вдыхать тонкий шершавый запах горящих сучьев, смотреть на невесомый дым, ползущий между деревьями по склону, пошвыркивать из металлической кружки чай с брошенными в закипевший котелок лепестками свиного багульника, ягодами шиповника, листочками брусники и какой-нибудь ещё, неизвестной, но всем своим видом и запахом полезной травки-муравки, попавшей под руку здесь же, около кострища.

Если взять горожанина, то ему-то уж точно дешевле покупать ягоду на рынке. И собираться в тайгу надо не на один день и преодолевать сотни километров, и возвращаться иногда, как говорят, не солоно хлебавши. Никто в тайге ягоду не караулит, кто успел, тот и нашёл, а кто не успел, тот и не съел. Но это не останавливает горожанина.

Скажу, что не за ягодой русский сибиряк ходит в тайгу, собираясь в небольшие ватажки, группы семейные и холостые, постоянные и случайные, предумышленная и предвкусная, обсуждая подолгу предстоящие хлопоты в неотступной зимней темноте по телефону. Походы в тайгу неотъемлемая и незаменимая часть жизни.

Иркутские писатели Валентин Распутин, Альберт Гурулёв, Ростислав Филиппов, Владимир Жемчужников, Станислав Китайский, Михаил Трофимов, Анатолий Горбунов, Анатолий Байбородин, Василий Забелло, Андрей Антипин и другие в различной мере в разные годы бывали кто — рыбаком, кто — охотником, кто-то не ловил рыбы и не стрелял зверя, а вот ягодниками были все. И, скажем, тема ягодного сбора есть почти у всех названных мною прозаиков и поэтов, но всё же не будет преувеличением сказать, что у Валентина Григорьевича эта тема занимает особое место, и нет другого писателя, который с поэтической ясностью изобразил бы в подробностях и деталях и таёжный пейзаж, и нетягостное сидение у костра, и неповторимость ягодной местности, и психологию сборщиков, и потайной смысл походов в тайгу. Не откажу в удовольствии себе и приведу отрывок из рассказа Валентина Распутина “Под небом ночным” с посвящением: “Друзьям-ягодникам Альберту Гурулёву и Николаю Есипёнку”.

“Приехали в самое скрытное, мало кому известное в Тункинской долине место неподалёку от монгольской границы, самое уютное и удобное, спокойное и для небольшой компании богатое. Съезд влево с тракта за линию электропередачи едва приметен, в заросли среди валунов чужой человек не осмелится направить машину, а тому, кто знает, куда едет, покачаться на колесах по камням придётся всего-то с километр, а там открывается на взлобке ровная поляна с огромной ядрёной елью в конце её, где тропка ныряет в тальниковые кусты, — сухая, чистая, не обросшая травой, с неумолчной музыкой от речки справа. Один бок у поляны подле горушки — в золотистой сосне, другой, противоположный, со стороны речки, — в черёмухе поперёд невысокого строя кедрюшек и елей. Лучшего места для табора не найти: давно нажжено тут кострище, наготовлен таганок, дров вокруг сколько угодно, а для вечернего сидения у костра лежит чуть приподнятая над землёй, обкорнанная гладкая сосна, которая одновременно может служить и столешницей. Если же выпадет непогода — по извилистой тропке за елью через пять минут будет зимовейка, некорыстная на вид, но высоконькая, аккуратная, обставленная внутри тем немногим, что и требуется поночёмщику: слева, за дверями, — маленькая железная печурка, а справа, в переднем углу, — неширокие, на двоих-троих, нары.

А уж от зимовейки вверх по речке тропу и вовсе не разглядеть, она перекидывается с берега на берег, скользит по камням, ныряет в заросли, карабкается по завалам, чуть держится на скользком прижиме. И ведёт эта тропка в кедрачи. До них, смешно сказать, километра три, не больше, но запоминаются они надолго. Другой тут идёт счёт, когда то прыгаешь, то ползёшь, то подтягиваешься на руках, чтобы взобраться на каменный откос, то с суковатым шестом в руке перебираешься по скользкой лесине на противоположный берег. Нечего и говорить, что ни на какой машине сюда и не сунешься. Шишка в этих местах крупная, тугая, в смолянистом наплыве; когда орудуешь колотом, хоть зимнюю толстую шапку надевай, чтобы уберечь голову. День в кедраче — и позаглаза, если не для рынка. А на другой день и ходить никуда не надо: здесь же, рядом с зимовьём, по скату к речке, по камням и редколесью — брусника, какая-то особая, удлинённой формы, крупная, чистая, глянцева, так и катится, так и катится в посудину. По речке везде чёрная смородина: лист по студёной воде облетает быстро, уже в августе, и она голо висит на кустах гроздьями, как виноград, и манит к себе ещё издали. Совсем рядом, на вырубках вдоль линии электропередачи, заросли жимолости, она из ранних, скороспелых, и брать её можно уже с середины июля, а висит она на кусте, не морщась, до самого конца лета. Жимолость, конечно, и поближе к городу есть, она ягода не капризная, а если уж гнал машину за две сотни километров сюда, то ноги сами собой после шишки и брусники подворачивают к облепихе. Вот это уж верно золотая ягода, по всем статьям золотая. Не имеет она замены ни для больного, ни для здорового организма про запас, чтобы не худилось здоровье; и по виду янтарная, так и брызжущая солнцем на реках и островах по Иркуту. Стоит лишь перейти дорогу и натянуть резиновые сапоги. Брать её по теплу, пока она не превратилась в ледышки, мука: облепиха цепко лепится к колючим веткам сплошным обростом, она мнётся, если её обрывать, мнётся, когда принимаешься тянуть, и только чувствительные пальцы знают, как с нею обращаться, чтобы не повредить. Брать её, конечно, мука, но уж набрал — душа ликует, и старательское твоё дело начинает греть тебя слаще любой выгоды.

Словом, такое это славное и фартовое место, что, в какую сторону ни пойдешь, что-нибудь да возьмёшь, а в хорошие годы глаза разбегаются, ноги заплетаются, куда воротить и что брать, — так всего много.

И вдруг не оказалось ничего. Приехали рано, в обеденную пору, и полдня потратили на торопливые и безрезультатные беги. Брусничник не родил совсем, только на замшелых кочках вокруг догнивающих пней висит по две-три ягодки, смородинник и ягодки не показал, жимолость была реденькой, мелконькой и скукоженной, успела её высосать букашка-козявка, на островах и случайного взблеска не выглядели. Всё ясно: пали заморозки на цвет, потом прошлась долгая и жестокая засуха, не миновавшая и этого благодатного места. Поднялись к кедрачам — там кедровка, как саранча, добывает остатную шишку и встретила их злым и пронзительным криком. Даже шиповника на просеке не оказалось, даже курильский чай рвать не хотелось — до того он стоял квёлый и примятый калёным летом.

Нет, не только за ягодами и орехами ехали они сюда и не о них томились долгими зимами, вымаливая в тоске и нетерпении вот эту пору. И везли они

сюда не только посуду под ягоды, но и кое-что ещё и в себе, требовавшей утешения. Не стало зимовья, но остался этот бугор между сосняком и речкой, обжитый многими наездами и почти родной, устроившийся так, что нельзя его ни сжечь, ни снести, и, должно быть, тоже помнящий их, потому что никогда и ни в чём не принесли они ему урона. Здесь даже грубое слово не выговаривалось. Остался этот неумолчный и нежный, хрустальный звон речки, это обрезающее горами и изгибающееся небо, эта высокая дородная ель с зеленью до синевы и широким, загнутым по краям изладом борчатого поддола, и дыкая, в сумерках совсем мрачная картина уходящей вверх по речке тайги с высоко и мёртво торчащим сухостоем, и грубый крик козла где-то неподалёку, похожий на рёв медведя, и ночное звёздно-трепещущее небо, и предутренний, короткий, как выдох, шум верхового ветра, тронувший верхушки сосен и ели и тут же загасший... Остался этот вязкий и хмельной запах всего-всего, что есть вокруг: от муравейника, расположившегося рядом с тропкой на спуске с бугра, от вызревшей травы, клонящейся и отдающей сухостью, от порывавших грузных сосен и согбенной от старости черёмухи, от камней, поросших мхом и наполовину ушедших в землю, от вывороченного соснового корневища, от нагретой за жаркое лето горы... Остались это умиротворение, этот покой, в которых сейчас лежит тайга, это желанное и щедрое отпущение грехов”.

Я никогда не вёл дневников, подразумевающих ежедневные записи. Когда вернулся из армии и стал работать в газете, на областном радио, а в дальнейшем и редактором журнала, то появлялись адресные и записные книжки, необходимые в работе, ежедневник на столе дисциплинировал, там были расписания встреч, всевозможных совещаний и т. д., которые держать в голове невозможно. Там же на свободных страницах оставлял заметы, не относящиеся к работе, цитаты из прочитанных книг, случайно приходившие поэтические строки, кем-то сказанные удачные фразы и т. д., и т. п. Как легко появлялись эти записи, так же легко выбрасывались в конце года Ежегодники, вместе с записями. Иногда я вырывал страницы и складывал в папки вместе с письмами, адресованными мне, с поздравительными открытками, тоже выборочно оставляемыми на память.

Невозвратные годы складывались в десятилетия, и только сегодня, когда годов впереди уже изрядно меньше, чем за спиной, разбирая действительно, а не образно пожелтевшие страницы, вдруг испытал острое чувство сожаления, что так расточительно обращался с богатством, которое, как дар, свалилось мне с неба прямо в руки, но невнимателен я был и равнодушен, не фиксировал даже самых важных имён, случаев и встреч, так мимолётно и скоро, стремительно промчавшихся куда-то, запечатлев в памяти только эхо, только очертания, только слабые видения, а не картину жизни.

Но в оправдание звучит и другой голос, успокаивающий, что всё произошло так, как произошло, и по-другому не могло произойти. Божья воля выше человеческой, и то, что отсеялось, отвеялось, — это словесные отруби, из которых, как ни старайся, не слепишь лепёшку, как ни разминай, рассыплется влажным песком.

Валентин Распутин был знаменитым писателем и в смысле знаменития, и в смысле знамени. Его известность, а потом и знаменитость утвердились медленно и незаметно от книги к книге, от выступления к выступлению, от действия к действию. Не было резкого всплеска читательского интереса, но не было и забвения. Было возрастание его значения в жизни литературы, в жизни страны. Даже в последние годы, когда Валентин Распутин ничего не писал, он оставался неким неофициальным центром в литературной жизни России. И значимость ему придавала не только и не столько литературная деятельность. А что же тогда?

При жизни Распутина можно было услышать:

— Если бы не Распутин, то я бы был первым писателем в Иркутске.

Какой-то нелепый упрёк проскальзывает и в писаниях этих авторов. Может быть, это дымовая завеса зависти?

Распутина нет, место свободно, но никто не займёт его. Распутин и ныне, думаю, на многие годы здесь, на родине останется первым. Те, кто имеет какие-то претензии, бесспорно талантливые люди, но и они своим нынешним положением в литературе обязаны Валентину Григорьевичу, потому что он помогал им, возил их рукописи, пристраивал в московские издательства и редакции, писал предисловия, отстаивал публикации, и если бы не эта его помощь, то кто знает, как сложилась бы судьба того или иного провинциального

литератора, если бы в своё время Распутин не обратился на него внимание и не вошел в него надежду и уверенность.

По просьбе редактора отправил в журнал воспоминания о поездке с Валентином Григорьевичем в Присаянье за черникой: рядовое событие, бытовые сценки, словом, путевой очерк, но на этом фоне – проявление его характера, пусть малых, незначительных черт его, которые в других ситуациях не проявятся, потому и важны, как важен теперь, когда его нет с нами, каждый шаг этого человека. Редактор позвонил мне, сказал, что очерк добротный, но в этот номер, посвященный Распутину, не войдёт, готов поставить в следующий, но надо насытить его глубокими мыслями из распутинской публицистики.

Какие могут быть великие мысли, когда прорубаешься, пропиливаешься бензопилой сквозь тайгу, неторопливо беседуешь у костра о самых незначительных вещах, но наполняющих смыслом общение, любишь перекатами и слушаешь грохот воды в горном ручье или спускаешься по крутому каменному склону на вездеходе, готовом, кажется, в каждое мгновение сорваться вниз, и думаешь только об одном: не дай Бог...

Всё великое и мудрое – в книгах Распутина. Надо быть только любопытным и не ленивым, открыться душой и сердцем навстречу.

Отшумит юбилей, отшелестят газеты, отговорят телевизоры, уйдут люди, знавшие Валентина Распутина, дружившие с ним, слышавшие его, а распутинская Сибирь останется заповедной страной, как Сибирь историческая до пришествия русских, и всякий может стать первопроходцем по нашей духовной Сибири, и откроются щедро каждому несметные сокровища распутинской мудрости, созидательной силы и любви.

* * *

С писателем Станиславом Китайским прилетели в Восточный Берлин.

В Карл-Маркс-Штадте один немецкий писатель пригласил нас к себе на дачу. Пили чай. Разговор зашёл о дачных делах. Это только у нас в России дача – место, где работают в свободное от основной работы время, работают от зари до зари, а в тёмное время ещё прихватывают ночь, включая фары автомобиля или переноску. У немцев, как и у других европейцев, дача – это место отдыха: стриженные лужайки, несколько фруктовых деревьев и никаких грядок или теплиц. Зачем, если всё есть в магазине... И дачи, как правило, расположены сразу за чертой города.

Гюнтер спрашивает меня:

- У вас дача есть?
- Конечно, – говорю, – а как же?
- Далеко от города?
- Да нет, не очень, сто километров.

Он стал думать, затем переспросил переводчицу, та – меня. Я подтвердил.

- На машине ездите?
- Нет, на электричке, машины у меня нет.

Он недоумённо вскинул на меня глаза:

- Это что, шутка?

Мне пришлось долго его убеждать, что это правда. Я говорил, что русский дачник ждёт, не дожждётся конца недели и каждую пятницу садится на электричку и едет к чёрту на кулички, чтобы проторчать там до воскресного вечера кверху задницей, вернуться к полуночи в город, а утром выйти на работу и с восторгом делиться с сослуживцами своим счастьем. Для немца это было непостижимо, мне показалось, что он так и не поверил. Но подхватил тему расстояний и стал с восторгом рассказывать, что к его сыну приехала подруга из какого-то немецкого городка:

- Вы представляете, она проехала восемьдесят километров на поезде, чтобы встретиться с моим сыном.

Восемьдесят километров у него звучало, как *восемьдесят тысяч лье под водой*.

За две недели моей поездки он несколько раз вспоминал эту историю с подругой сына, чувствовалось, что случай этот поразил его до глубины сознания.

Европейцы живут другими представлениями о расстояниях. В средние века мы жили на одном европейском пятачке, и у каждого народа была возможность

расширять свои владения на восток, но только мы ушли за Уральский Камень, дошли до океана легко, как нож сквозь масло, а у них хватало смекалки и наглости только на то, чтобы ходить в наши владения и пытаться прибрать к рукам наши земли, освоенные и обихожённые. Западные историки, когда пишут о причинах поражения и Наполеона, и Гитлера, непременно приводят фактор необъятности наших территорий, чтобы принизить силу и храбрость русского человека, его самопожертвование во имя общей победы. Ну что ж, кому-то стены крепостные помогают, а нам и Богом данные бескрайние просторы и леса.

Наши студенты на выходные едут из Иркутска к родителям “подхарчиться” за сотню-другую километров и даже не думают, что это далеко.

Надо заметить, что в России во все времена расстояния или отношение к ним были иными, чем в других странах. Приведу выдержку из воспоминаний Сергея Тимофеевича Аксакова о Державине, с которым он близко сошёлся в 1815 году, часто бывал у него, подолгу беседовал с ним. И когда Гаврила Романович узнал, что Аксаков из Оренбуржья и учился в Казанском университете, воскликнул: “Но позвольте: ведь мы с вами с одной стороны... Да мы с вами и соседи по оренбургским деревням; я обо всём расспросил братца вашего. Моё село, Державино, ведь не с большим сто вёрст от имения вашего батюшки”. “Сто вёрст считалось тогда соседством в Оренбургской губернии”, — добавляет Аксаков.

Многие путешественники отмечали спокойное отношение русских людей к расстояниям. И. А. Гончаров размышляет об этом, возвращаясь из кругосветного путешествия: “На Каменской станции оканчивается Якутская область, начинающаяся у Охотского моря, это две тысячи вёрст! До Иркутска столько же остаётся — что за расстояния! Какой детской игрушкой покажутся нам после этого поездки по Европейской России!” Или в другом месте: “Сибиряки говорят: сто рублей — не деньги, сто километров — не крюк”.

Если бы я рассказал немцу, как мы с Валентином Распутиным ездили за черникой за тысячу километров, он бы мне не поверил. Всё, что не поддаётся пересчёту на евро, подчас не подвластно европейскому уму.

Среди писателей мало найдётся таких, кто мог бы сравниться с Валентином Распутиным: так быстро и чисто никто брать не может ни бруснику, ни жимолость, ни чернику, ни голубику. Я думаю, это не столько опыт, сколько данный от рождения навык. Это подметил и поэт Ростислав Филиппов:

*Сам я по тайге ходок неважный.
Вот Распутин бегаёт, как лось.
Мне не часто, но и не однажды
по бруснику с ним ходить пришлось.
Всякого бы склоны устрошили.
Еле-еле рюкзачок несущу...
Он же — свист травы! — и на вершине.
Снова повсвист — он уже внизу!
Ты идёшь, усталый, до ночлега.
Поработал, как передовик.
Он весь день прошагал и пробегал.
Ан, проверьте — полон горбовик!
В том, конечно, оправданья мало:
мы, мол, не в деревнях рождены.
Дилетанты и профессионалы —
все подряд перед тайгой равны.
Вот искусство — на одном и том же
месте больше ягод усмотреть.
Если ты того ещё не можешь —
не завидуй. Постарайся впрёдь.*

Сбор ягоды — дело фартовое. Бывает, придёшь в ягодник, кажется, всё кругом выбрано на версту, а возвращаться пустым не хочется. Пойдёшь в одну сторону, в другую, ноги избобьёшь, еле волочишь и вдруг наткнёшься на нетронутую полянку рясной, прямо какой-то праздничной ягоды: два-три часа — и полон горбовик. Но бывает, что излазишь округу, сколько сил достанет, и пусто: не уродилась.

Николай Васильевич Терещенко, человек известный не только в Тулуне, где живёт: охотовед, предприниматель, путешественник, бывал по молодости и штатным охотником, и ягоды заготавливал, и орехи бил, и прочие дикоросы собирал.

Однажды, будучи в Иркутске, позвал нас за черникой. Мы легко согласились, собрались, уложили вещи, залезли в его джип и — полный вперёд. О том, куда едем, и речи не вели: проводник надёжный, места знает, ему видней. Доехали до Тулуна — это четыреста километров, переночевали на Казачке, в небольшой гостинице недалеко от Тулуна на реке Ие, куда нас устроил Николай Васильевич. Утром на вездеходе ГАЗ-66, военной машине, которая уже давно не выпускается нашей промышленностью, но надёжно работает по всей таёжной Сибири, двинулись в сторону Саянских хребтов. Николай Васильевич родился в Ишидее, Присяянском таёжном селе, его дед, его отец были профессиональными охотниками, и Николай с детских лет освоил таёжный промысел. В Ишидее он взял проводника, местного парня, Сергея, хотя сам Терещенко знает местность и мог бы обойтись, но где в этом году уродилась черника, не знал.

Заехали к знаменитому охотнику, участнику войны. Пили чай. И как-то сам собой, без напряжения шёл разговор о том, что волнует: о варварской рубке леса, об упавших ценах на пушнину и т. д.

Наверно, на земле уже не осталось таких мужиков, таких характеров, которые ещё встречаются у нас в Сибири, особенно в глубинке. Их тоже немного, но они есть. По мощи природной, по силе и воле они плоть от плоти тех русских первопроходцев, которые за короткий срок освоили Сибирь плугом и конной тягой, топором и пицалью. Невероятным напряжением собственных жил они сделали то, чего не делал ни один народ в мире. Они преодолевали невообразимые расстояния, и, наверное, в нас и через несколько поколений не ослабевает та сила преодоления, которая вела их. У нас нет боязни расстояний, нет страха глубины и высоты и, наверное, поэтому мы первыми устремились в космос.

Однажды я спросил Николая Васильевича, сколько раз он обогнул земной шар на своём автомобиле.

— Я об этом не думал, — ответил он.

Стало интересно прикинуть, хотя бы приблизительно, сколько тысяч километров он проехал. Оказалось, что он мог бы обогнуть нашу землю, совершить кругосветное путешествие три десятка раз, не менее, а то и более.

Кто не трясся в грузовиках по таёжным дорогам, не спускался по размытым колеям в глубокие пади и не “полз” по каменистому или болотистому бездорожью, налетая железным брюхом автомобиля на камни, вряд ли представит даже в развитом воображении, что это за путь.

Остановились в середине дня, когда ниже дороги возникла речка, поблёскивавшая на перекате расплавленными искрами света. Стали собирать сухой хворост, подтащили парочку увесистых коряжин. Место выбирать не пришлось: на чистой полянке над берегом в траве чернело старое костровище. Было видно, что рыбаки давно облюбовали этот пригорок.

Чайник закипел скоро. Николай Васильевич достал из ящика с продуктами кусок чаги и хорошую щепоть какой-то сушёной травы:

— Будем пить полезный чай из чаги и каменного зверобоя.

Тёмной настой источал смолистый аромат и был приятен на вкус. Пили, нахваливали. Николай Васильевич потянулся к чайнику за добавкой.

— Слушай, Вася, а давай нашего бесполезного индийского заварим, — это Валентин Григорьевич мне, едва уловимо улыбаясь одними глазами.

Накануне вечером в гостинице я заваривал чай, который прихватил из дома. Жена обнаружила в одном магазине чай, назывался он “Золотые лепестки” и, как нам казалось, не уступал по вкусу индийскому чаю, который пили в советское время. Валентин Григорьевич оценил его вкус. Он не отрицал полезность травяных настоев, но чай предпочитал в чистом виде. Вспомнилось, как пили чай у Альберта Семёновича Гурулёва, писателя, университетского товарища Валентина, он гурман и чай пьёт только с молоком. Но Валентин

от молока отказался, сказал, что так два продукта портится: и чай, который перестаёт быть чаем, и молоко, которое перестаёт быть молоком.

Когда закончили трапезничать, Валентин Григорьевич стал собирать кружки тарелки, Сергей хотел взять у него посуду:

– Валентин Григорьевич, дайте, я схожу, помою.

Но он отстранил его руку и стал спускаться к реке.

Мы “шли” всё дальше и дальше. Надо заметить, что лесные дороги, ранее бывшие лесовозными, здесь, в Присаянье, находятся в хорошем состоянии. Хотя лес уже почти не заготавливают – весь вывезли, – но грунтовки служат и поныне. К вечеру мы по крутому, казалось, отвесному склону, спускались в широкую падь, колея была размыта на метровую глубину, и валуны торчали из промоин. Лавируя между ними, Николай медленно и умело вёл машину, уклон был настолько крутым, что дух захватывало. Машину болтало из стороны в сторону, борта будки шоркались о кусты и стволы деревьев.

Я повернулся к Валентину Григорьевичу: напряжённо глядит вперёд, сжимаемая поручни на передней панели.

Уже поздней ночью мы укладывались спать в будке машины, приспособленной для ночёвок и в самые жестокие холода: здесь была небольшая железная печка, нары с матрацами и одеялами. Валентин Григорьевич спросил:

– Ты когда-нибудь ездил по таким дорогам?

Я сказал, что бывает и хуже. С Николаем Васильевичем я ходил и в Саяны на снегоходах, и на охоту и зимой, и весной, случилось, что вездеход уходил под лёд, поэтому было с чем сравнивать: в тайге не бывает асфальта...

Валентин только качнул головой, но жест был понятен.

Накануне прошла мощная буря, и долина была сплошь завалена выворотнями, сломанными деревьями, и проехать было невозможно. Мы остановились. Пропиливать дорогу было бессмысленно: около километра до зимовья мы пробивались бы не одни сутки. Николай остановил машину, вышли все. Он прошёл вперёд, свернул влево, к речке, вернулся.

– Пойдём по руслу реки, там деревьев меньше, пропилим дорогу. Сергей, доставай пилу. А вы разводите костёр, чай варите.

Зашумела бензопила. Из лежащих поперёк речки деревьев выпиливалась середина, чтоб могла пройти машина, сутунок пускался вниз по течению.

Мы с Валентином занялись костром, собирали валежник, смастерили таган. Закипел чайник, шумно вырывался пар, подпрыгивала крышка, и кипяток выплёскивался прямо в костёр. Валентин снял с шеста чайник, отодвинул от пламени, и мы пошли на шум бензопилы помогать Николаю и Сергею.

Таёжные зимовья, в общем, мало отличаются друг от друга. Это было попросторней, видимо, здесь раньше, когда заготавливали орех и ягоду, жили бригадой.

Истопили баню, пристроенную к зимовью, попарились, сидели у костра за разговорами чуть ли не до первого света. Рядом с Валентином, примостившимся на чурбаке, спала собака, дёргая лапами во сне и тихо поскуливая, может быть, гналась за зверем или облаивала загнанного в скальчик соболя.

В зимовье было жарко, и Валентин предложил ночевать в машине. Будка была оборудована деревянными нарами, которые могли при необходимости вместить человек пять-шесть, на них лежали ватные матрацы, подушки, шерстяные одеяла.

Утром разжигали костёр, вытаскивали из зимовья съестные припасы, варили чай. Сергей ушёл в черничник на разведку. За шумом речки не услышали, как он подошёл, повернулись на голос:

– Нет ягоды, Василич.

– Как, совсем, что ли? – переспросил Терещенко.

– Морозом цвет побило, я всё оббежал и вправо ходил по склону до конца ягодника и вернулся по гривке, – пусто.

Интересно, как бы воспринял немец или иной европеец рассказ о том, как мы со знаменитым писателем Валентином Распутиным ездили собирать чернику за тысячу вёрст, если считать весь путь туда и обратно, то и подальше будет, а ягоды не оказалось. У них, как выражается один мой знакомый, наверняка бы произошло “смещение мозгового центра”.

Но ягоду мы всё-таки нашли, не зря Николай Васильевич взял с собой Сергея. На обратном пути на каком-то перевале Сергей повёл нас одному ему известным ходом и вывел на склон, на котором мы, пополнив несколько часов, наполнили свои горбовики черникой.

Ну, а обратная дорога, как заметили наблюдательные таёжники, всегда короче.